

РАЗЛИВ БЛАГОДУШИЯ

Наше время когда-нибудь, когда будут писать его историю, наверное, назовут эпохой благодушия. Были времена, когда любили уверять что под покровом "нашего мудрого и попечительного правительства" русским людям больше желать нечего, но это говорили или те "преданные без лести", каких всегда много, кому на самом деле по их потребностям оно представлялось - и мудрым попечительным, или тем двум-трем отвлеченным мечтателям, которые эти свойства русской власти выводили по гегельянским выкладкам и очень скоро опоминались и от этого все-таки очень ответственного тезиса. Потом, после долгих лет самого душного "затишья", когда даже ношение бороды и курение табаку было революцией, кажется, все без исключения, сами преданные без лести - впали в восторг, и все готовы были объединиться на самой неопределенной "формуле прогресса" - в первые дни чуть ли не на "всеми признанной необходимости скорейшего проведения железных дорог", но тоже опомнились очень скоро, и – если руки не опустились, если продолжали верить – то уже в более определенные - и не в одну – формулы; и если продолжалась восторженность и "веселая торопливость", то они казались смешными тем, кто стоял перед жизнью с еще более властительной требовательностью. Так вспоминаются две эпохи – затишья и предвестия грозы. Надежды недавних дней, еще справившие своей десятилетней годовщины, отличались, как всякие надежды и бодростью, и восторгами; но надежды осуществились только отчасти - или почти не осуществились. И это было бы еще не так страшно для жизнеспособной и верящей в свои силы нации, но она была оскорблена в своих благороднейших инстинктах, - в глазах темнело от ежедневного перечня покойников - не тех, о которых оповещают "с душевным прискорбием родные"! Руки могли опуститься – они не опустились, мы смотрим глазами, омраченными тоской, но мы не закрыли их навеки...

Вот наше положение: до благодушия слишком далеко, восторги неуместны и дики, а между тем вокруг положительно - разлив благодушия. Не говоря уже о настроении тех, имена которых не попадают в историю – общество, публика, интеллигенция, частные люди, не пишущие статей в газетах, не помещающие повестей и стихов в журналах, не читающие лекций – предположим, что они остаются бессознательными и полусознательными – до времени, до срока, до грозы; но интеллигенция, руководствующая <нрзб.> (дефект!), назначение которой – сознательность, разделяет это благодушие едва ли не принципиально, воображая, что она делает этим хорошее дело, поддерживая бодрость. Среди газет и журналов у нас есть такие, которые нельзя назвать иначе, как *органами благодушия*. Я уже однажды задал вопрос: не педагогический ли это прием? до того не верится в неподдельность этого благодушия со стороны тех, чьи надежды не осуществились, кто должен чувствовать себя оскорблением! Или это - как у истинных педагогов - прием самовоспитания? поддержания бодрости в самих себе, чтобы руки не опустились, чтобы в глазах не потемнело окончательно? Этот разлив

благодушия до того невероятен, до такой степени нельзя было в возможность его поверить еще каких-нибудь пять-шесть лет тому назад (или - десятилетняя годовщина уже близка - и сапоги успели износиться?), что придумываешь себе самые различные предположения, чтобы объяснить, понять, а не осудить, и ничего придумать не можешь, кроме того, что люди себя утешают, успокаивают - или утратили чувствительность, потому что, кажется, - и это самое страшное, - что соблазнительная проповедь бодрости духа вызывается как раз обратным, утомленностью, или утратили чувствительность, потому что, кажется, - и это самое страшное, - что соблазнительная проповедь бодрости духа вызывается как раз обратным, утомленностью, или, что уже страшнее страшного, рыхлостью умов и сердец, а вовсе не внутренней силой руководителей. Читая в "органах благодушия", что в том или ином явлении, которое надо было решительно осудить, обвинить, отвернуться с негодованием: "что-то есть", "что-то об", что "в наше время всеобщего пессимизма оно все-таки..." и пр., успокаиваешь сам себя каждый раз легким, сегодняшним утешением: ну, это так, случайно: но завтра опять то же самое по другому поводу, еще один голос в защиту какого-нибудь из признаков упадка, иногда с той стороны, откуда менее всего можно было бы ожидать такой ревности - да и не только в органах благодушия, но и в очень суровых. Каждый дня от сознания того, что мы, слава Богу, наконец, мол, освободились от какой-то гнетущей внутренней суровости и выходим на свежий воздух жизнеощущения!

Примеров такого самодовольства очень много, слишком много - об этом ведь и речь! Но я скажу о том, что является самым важным.

Лет двадцать - и даже больше - тому назад были произнесены в первый раз слова: "отказ от наследства" - разумелись 60-е годы. Люди конца восьмидесятых и начала девяностых годов отрекались от "веселой торопливости" своих отцов (выражение Достоевского), - даже своей собственной в юные годы, проповедовали "малые дела" и "постепенность", прикрывая этой идеологией самую обыкновенную, петербургскую, приспособляемость; любили щеголять и этим словом - не отцы, а именно дети, во время этой эпохи был самый салонный и плоский эстетизм: в поэзии - Апухтин, в живописи - К. Маковский, в музыке Верди, в критике серьезно считались с Бурениным, - "Новое Время" было всеобщим законодателем мнений и мод. А хранившие в те дни "наследство" стыдливо прятались - тем более, что показаться наружу было - и опасно, и безнадежно - до времени, до срока, до грозы! Только Чехов плакал при всех, не стыдясь, в эти годы, и очень долго не замечали его слез, не могли понять их, даже те, кто должен был бы понять; многие томились в ссылках - и здесь недалеко от нас; скучал еще кое-кто, например, символисты - еще никому не известные, тогда совсем мальчики - скучали "неприятием мира" и тоже отрекались от "наследства", не предчувствуя того, что настанут дни, когда именно они подадут руку тем, кто стыдливо или в вынужденной тишине готовили грозу. Гроза пришла, и все, да - все! - объединились тогда в общих надеждах, и отказа от "наследства" как не бывало, и для всех последние полвека русской жизни слились в общем

сознании в одну эпоху, подготавливавшую, приближавшую грозу, канун грозы. Гроза прошла. Те, кто принимали все меры, чтобы она пронеслась мимо, рассчитывали – холодно и верно – на усталость, и не ошиблись в расчете! потому что нынешняя проповедь жизнерадостности, всеобщие легкие восторги, весь этот разлив благодушия – суть не призывы, не крики – безудержной, и не слова сдержанной силы, но признаки, но вздохи утомления, того же самого, какое настало в восьмидесятых годах. И лозунги похожи, и психология, - только теперь все гораздо культурнее – разностороннее, красочнее, подвижнее и, стало быть, тем более властно.

Пусть я ошибаюсь, пусть мне возразят, пусть мне скажут, что я не прав, - пусть убедят - мои слова не одинокий голос; и, если все те, кто думает, как я, - не правы, пусть нас разбудят! пусть убедят, что не подобно наше время тем - не таким уж далеким - годам, пусть покажут, где признаки внутренней силы во всем том, в чем будто бы "что-то есть"! И прежде всего – пусть скажут, действительно ли мы должны отказываться от "наследства"? Не легкомыслie ли это утомленных сердец – говорить об абстрактности общественной догматики 60-х годов, которую новые, теперешние люди сменяют более свободным отношением к жизни, к ее требованиям и призывам? Или не искушают ли нас, когда такой отказ от "наследства" оправдывают самым соблазнительным из всех доводов – отречением от узости позитивного мировоззрения той эпохи во имя широких просторов религиозных исканий, открывающихся теперь перед новым поколением. Я поверю, что это самый соблазнительный из доводов, потому что из-за религии спорили и спорят революция и реакция больше, чем из-за чего-нибудь другого до сих пор. Реакция всегда считала религию своею и сумела надолго убедить в этом революцию, так что даже либерализм склонен был бояться религии; но тот факт из недавнего прошлого, что представители религиозности в нашей литературе, именно символисты, откровенно подавали руку революции, по-видимому, разрешил старинное недоразумение. Теперь уже призывать к религии не значит призывать к реакции, скорей, напротив - подавать руку той группе, которая хочет слить революцию с религией. Вот почему я и назвал этот довод соблазнительным. Потому именно, что за религию спорят и те, и другие, - и словом *религия* еще ничего не сказано: надо вскрыть его содержание, чтобы мы знали, о какой <религии ?> идет речь, о той ли, которую считает своей реакция, или о той, о которой гадают те, кто хочет с религией слить революцию? Восьмидесятые годы были тоже богомольны и хвастались этим! И оттого - то указание на религиозные искания вопроса о бодрости общественной не исчерпывает, а только открывает, также и упрек 60-м годам в узости мировоззрения не есть основание для легкого отношения к той эпохе предвестия грозы – и как предпочтения энтузиазму тех лет, как бы слабы отвлеченные идеи их не были (ведь не идеями же творится жизнь!), современной растерянности, бессильной для истинных восторгов – и общественных, и религиозных, и эстетических. Последнего из всех надо было бы искать скорей, чем какого-нибудь другого. Но нет и его, и не может быть, и эстетизм наших идей – одно благодушие, снаружи самоуверенное, а

внутренно – вялое. Истинные восторги умчались вместе с истинными надеждами и только вместе с ними вернутся, - а пока будем суровее, чтобы сберечь оставшиеся верования, завещанные нам по наследству: они еще не исполнились, и они, может быть, не так не религиозны, как это кажется.